

Из детских своих впечатлений Павел Иванович Мельников особенно запомнил одно дедовское наставление: “Учитесь, учитеесь, да читайте больше. Читайте Записки Сюлли и Деяния Петра Великого (Голикова)... Петра Великого чтите, он наш полубог!...” Спустя несколько десятков лет он признался, когда писал автобиографию: “Разумеется, мы не понимали его слов, но имена Сюлли и Петра Великого врезались в мою память, и уже после мать моя растолковала мне предсмертный завет бабушки. Это с ранних лет заставило меня полюбить историю...”¹

Максимильен де Бетюн Сюлли, упомянутый здесь, – глава французского правительства при Генрихе Четвёртом, министр финансов, автор мемуаров. Они, эти его записки, выходили в России с 1770 по 1776 год маленькими книжками в восьмую долю листа, то есть размером примерно с ладонь, в десяти томах, довольно тоненьких, и дедушка писателя имел в виду именно это издание, где заглавная буква первого абзаца предисловия заключена в лавровый венок, в нижнем правом углу каждой страницы отпечатано целое слово или часть слова, с которого начнётся следующая страница, где буква “в”, набранная курсивом, похожа на непривычный нам квадрат, скошенный набок: , где страницы проставлены по центру верхнего поля и заключены в скобки... Другого издания не было, и Мельников читал именно это. Иван Иванович Голиков – отечественный историк XVIII века. “Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России” – его капитальный многотомный труд, конечно, для детского чтения не предназначенный. Книга эта сошла с типографских станков сразу после “Записок...” Сюлли. Потом её издавали снова. В “Ленинке” я посмотрел второе издание 1840 года. Оно без особых украшений в виде урн, виньеток, ангелочков с трубами, виноградных лоз или скрещенных дубовых веток с листьями и прочей мишуры. Но экземпляр, который я из любопытства заказал, был с овальным владельческим штампом: “Из библиотеки М. П. Погодина” с инициалами в центре.

Что общего между французским сюринтендантом, российским императором и забытым отечественным историком конца XVIII века? Это, мне кажется, их государственное мышление, государственность как цементирующая идея всего общественного устройства, под которой прошёл непростой и великий восемнадцатый век. Это мысль о predeterminedности судеб страны свыше, о монаршей воле, которой движет, управляет или направляет её – как угодно – Божия воля, и потому всё великое свершает именно личность (“мысль

народная” явится позже). Монарх — олицетворение Бога на земле. Отдельный герой, вроде Козьмы Минина, — лишь орудие Божиего промысла, “чрез которое, — как говорит о нём Голиков, — Россия оживотворилась и воскресла”. “Наш полубог” — так дедушка отзывался о Петре неслучайно... Всё, что делается и происходит в стране, делается и происходит исключительно в интересах государства, во имя его мощи, силы, нерасторжимости. Оба автора — убеждённые сторонники и защитники монархии и иначе не представляют государства. Бог, царь, народ — вот три звена прочной государственной цепи. Одного нет — всё распалось. Монархия движется идеей служения. Но мама писателя, думаю, постаралась подобрать для сына более простые слова, далёкие от терминов социологии...

Это детское воспоминание писатель привёл в автобиографии, которая в двух вариантах помещена в последнем советском собрании его сочинений (1976 год) на “задворках” первого тома в качестве приложения. Набрана скромно маленьким шрифтом. Между тем, здесь в нескольких строках обозначены два очень важных момента. Первый — влияние и роль старших в определении круга детского чтения и интересов вообще. Историческое сознание ребёнка начинается формироваться ещё до школы, именно в семье. Второй момент — содержательная сторона произведений, рекомендуемых для детского чтения, прежде всего, это, в данном случае, книги, из которых ребёнок получил бы представление о 1) своих национальных героях; 2) об истории Отечества и тех событиях, которыми ему надлежит гордиться; 3) о национальных героях и истории других стран.

Представление о своих национальных героях, подлинных гениях, знание истории Отечества и любовь к ней — одна из составляющих культурного ядра нации, что, как видим, превосходно понимал дедушка писателя, не ведая, разумеется, таких определений. И о том же самым спустя столетие очень точно выскажется Иван Ильин: “Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто *священное*; которая живым опытом (может быть, вполне “иррациональным”) испытала *объективное и безусловное достоинство* этого священного — и узнала его в *святынях своего народа*. Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто *прекрасное перед лицом Божиим*; что оно живёт в душе его народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от одного простого, но подлинного касания к этому прекрасному. Найти родину — значит реально испытать это касание и унести в душе загоревшийся огонь этого чувства...” (курсив И. А. Ильина).

Это “простое, но подлинное касание” началось для Мельникова с непонятных слов о Голикове и Сюлли; искрой того восторга перед этими именами — знаками национального величия — постепенно, подспудно поддерживалось писательское вдохновение.

Десять сокровищ

1. История

Хочу привести ещё одно высказывание русского философа из той же его работы — “Путь духовного обновления”. Глава седьмая — “О национализме”, параграф второй — “О национальном воспитании”. Ильин говорит, что ребёнку следует обогащать духовными сокровищами, выделяя десять, среди них — историю. О ней он пишет так: “Русский ребёнок должен с самого начала почувствовать и понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величайшую и трагическую историю, перенёвшего великие страдания и крушения и вышедшего из них не раз к подъёму и расцвету. Необходимо пробудить в ребёнке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого научения мудрости и силы”. Кажется, именно к этому и стремился умирающий дедушка Мельникова, советуя читать Голикова.

У них, разделённых многими десятилетиями, было одинаковое осознание важности исторической памяти. “История учит духовному преемству и сыновней верности; а историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуместь его путь, любить его и верить

в его призвание. Только тогда он сможет быть истинным национальным воспитателем” (курсив И. А. Ильина). История стала для Мельникова одним из “сокровищ”, и неспроста он не только её полюбил сызмальства, но изучал, открывал архивы, посвятил ей жизнь. Он рано понял значимость духовной преемственности для становления, развития, в конце концов, для выживания народа.

Ничто не должно уходить в небытие. Ни события, ни человеческая личность, ни слово. В каждом слове есть особое историческое семечко. Неспроста у писателя такое внимание к устаревшим словам: стомах (желудок), послух (свидетель), летось (прошлым годом), бударка (название лодки или небольшого судна), дельщик (человек, способный к работе), реюшка (парусная шлюпка), изурочить (сглазить), шиповка (артель, где куют гвозди для судов), апостольская скатерть — название надутого ветром паруса на языке волжских бурлаков, Стекольно (Стокгольм, отсюда Стеклянное царство — Швеция)... За всеми ними — минувшие годы, ушедшие люди. Быт, вещь, мир, напрямую связанные с человеческим сознанием и трудом. Слово — это верёвка, которая связывает с прошлым, со смыслами и ценностями бытия. Слово и язык — основа мышления, поэтому писатель — всегда мыслитель. Изменить язык — значит изменить мышление.

И тут необходимо отметить глубинное мельниковское знание собственной семейной “маленькой” истории. Корни своего рода он проследил до семнадцатого века. Гордился родовой иконой времён Ивана Грозного (не сохранилась, сгорела во время нашествующих петербургских пожаров 1862 года). Гордился тем, что он русский.

Не думалось ли вам, если случилось прочесть, что его “Бабушкины рассказы” — повесть глубинно философская, ибо её тема — живая историческая преемственность, историческое свидетельство и его роль в эстафете поколений. Для Мельникова всегда была важна осязаемая встреча с прошлым — соприкосновение, ощущение, запах его и вкус, его способность перевернуть, “перенастроить” сознание. Отсюда увлечение поиском старинных документов и книг. Мне нравится это сравнение современного немецкого философа Курта Хюбнера из работы “Нация”²: архивные документы — плоть истории. Где плоть, там и дух. Всё связано. Это раз. Истории нет без источника. Это два. Для Мельникова история — это ещё и путешествие по русским историческим местам. Например, по маршруту Ивана Грозного, который шёл воевать Казань. “Летом проехал весь путь Иоанна Грозного от Муромы до Казани, нанёс на карту все курганы, оставшиеся на месте его станов, разрывал некоторые, собрал всевозможные предания, поверья, песни о Казанском походе, осмотрел церкви, Грозным построенные, видал в семьях, происходящих от царских вожатых, жалованные иконы, списки с грамот”³. Или путевые заметки по дороге из Тамбовской губернии в Сибирь, самое первое его опубликованное произведение, где история и современность неразрывно переплетены. Это, в-третьих, свидетельства очевидцев.

Уже в “Дорожных записках” открыл он и использовал излюбленный впоследствии приём — обработанный рассказ свидетеля об исторических событиях. (“А расскажи-ка, дядя, барину, как вам бороды-то брили!”). Уже там прозвучало горестное признание: “Как-то досадно смотреть, когда от какого-нибудь места исторического не останется ничего, кроме обыкновенной деревни!” “Старые годы” и “Бабушкины рассказы” — тоже встреча разных поколений, а по сути, передача исторических (= сакральных) знаний, выражающих определённое понимание национального бытия. Между прочим, “Бабушкины рассказы” — повесть о предназначении и роли дворянства, о характере восемнадцатого столетия, каким он был, каким запомнился, вошёл в память. Мне нравится эта его характеристика: “Всё ликовало в тот век!.. И как было не ликовать? То был век богатырей, век, когда юная Россия поборола двух королев-полководцев, две первостепенные державы свела на степень второклассных, а третью поделила с соседями... Полтава, Берлин и Чесма, Миних в Турции, Суворов на Альпах, Орлов в Архипелаге и гениальный, неподражаемый, великодушный князь Тавриды, создающий новую Россию из ничего!.. Что за величавые образы, что за блеск и слава! Но с этим блеском, с этой славой об руку идут высокомерное полуобразование, раболепство, слитое воедино с наглым чванством, корыстные заботы о кармане, наглая неправда и грубое презрение к простонародью...” Мельников никогда не плюнет, не осудит

былое. Каким бы оно ни было, оно священно, потому что оно своё. “Но мир вам, деды! Спите спокойно до трубы архангельской, спите до дня оправдания!.. Не посмеёмся над вашими могилами, как смеялись вы над своими бородатыми дедами!..”

Историческая память определяет самосознание народа. Прошлое всегда определяет систему ценностей настоящего. Мельниковские рассказчики в “Старых годах”, в “Бабушкиных рассказах” стремятся выстроить преемственную систему ценностей, создавая перед читателем многогранный и яркий образ прошлого, взаимоотношений людей через собственное свидетельство, воспоминание, вещный мир, язык. “Люди восемнадцатого века встают передо мной, как образы какой-то знакомой, хоть и не прожитой жизни”. Это время с “наглым криком временщиков и таинственным лепетом юридивых”, “подобострастными речами блюдолизов” и “амурным шёпотом петиметров⁴ и метресс”, рёвом медведей, разгулом, с ледяным дворцом Анны Иоанновны и маскарадами — это время противоречивое с его ничтожностью и славой, и очень-очень дорогое.

У Мельникова в его прозе, причём с первых литературных шагов, появляется интереснейший герой — свидетель времени. В нём пересекаются прошлое, уже настолько далёкое, что более молодые могут узнать о нём лишь понаслышке, и настоящее; старость, а за нею — времена давно былые, и юность, живущая иными измерениями. Эстафета времён всегда передаётся через свидетельство. Вот, например, старик с последних страниц “Дорожных записок на пути из Тамбовской губернии в Сибирь” — уже не старообрядец, но верный обычаям донионовского быта и старины. Он рассказывает, как в далёкие-далёкие времена пришёл в Соликамск императорский указ: всем брить бороды. “После службы Божией выходит воевода и стал читать, чтобы дескать ходили без бород и в немецких кафтанах. Мужики повесили бороды, бабы в слёзы. Мы-таки себе на уме, думаем: ладно, ещё когда-то бороду сбреют, а царь-государь смилуется да отменит своё наказание за грехи наши: не тут-то было! Стали выходить из церкви; глядь, на паперти-то два брадобрея да немец с ножницами. Кто из церкви выйдет, брадобрей хватъ его за ворот, да полбороды и прочь; остальную, говорит, после отрежу. Он тебе бороду режет, а немец перед тобой на коленях уж и ползает, да своими ножницами возьмет да полы у кафтана прочь да прочь; хоть синий суконный будь — не посмотрит, отрежет, да и пустит курам на смех, — ну, немец немцем из церкви выйдешь: кафтан на тебе как кафтан, а пол нет: так, слышь, воеводы приказали. Батюшки светы! Наши мужики возьмут обстриженную бороду в обрезанные полы да идут домой, как на казнь смертную; а бабы-то вокруг них воют, как по покойникам”.

И этот рассказ, трогательный и грустный, — не единственное, что поведал автору древний соликамский старожил. По его признанию, в год, когда царь Пётр “побил свейского короля” (1709-й, Полтавская битва), ему было лет одиннадцать или двенадцать, следовательно, он родился не позднее 1698 года, и когда Мельников с ним встретился, ему было глубоко за сто. В цикл “Дорожных записок...” по цензурным соображениям не вошёл рассказ о казке Дементии Верхоланцеве, видевшем в молодости самого Емельяна Пугачёва. Свидетель восемнадцатого века — бабушка Прасковья Петровна Печерская, чьи “рассказы” пересказывает праправнук. “Старые годы” написаны на основе “записки” Валягина — вымышленного документа, раскрывающего историю рода князей Заборовских. Оттуда и название повести. Автору удаётся обнаружить тетрадь с пометкой “писано по словам столетнего старца Анисима Прокофьева с надлежащими объяснениями коллежским секретарём Сергеем Андреевым сыном Валягиным 17-го мая 1822 года в селе Заборье”, и, таким образом, тут снова возникает “свидетель времени” — не действующее лицо, но персонаж, сохранивший память о прошлом, рассказав кому-то, кто мог писать, удивительную череду исторических событий. Мельникову крайне важен именно изустный рассказ о былом, от человека к человеку. Сюда, в эту историческую линию, впишется, пожалуй, и Иван Кондратьевич Рыбников с его рассказом об Аракчееве из короткого рассказа, почти юморески, “В Чудове”.

Итак, десять ильинских “сокровищ”. Я хотел бы посмотреть, как связаны они, как вложены, как раскрыты в ценностной своей сущности в творческом наследии Мельникова. Одно, очень важное — историю — мы уже затронули,

хотя и вскользь, однако она и дальше будет сопутствовать нам. Перейдём к другим, немного нарушив тот порядок, в каком следуют эти “сокровища” у Ивана Ильина.

2. Сказка

В номере 137 от 28 июня 1859 года в газете “Русский дневник”, которую редактировал Мельников, была помещена последняя глава его повести “Заузольцы”. Она посвящена тем, кто живёт за рекой Узолой, и название произносится с ударением на “у”. Повесть не закончена и не входит в современные собрания сочинений. В ней есть эпизод, когда матушка Измарагда, инокиня из старообрядческого скита, пересказывает (опять выступая в роли свидетеля) девушкам Груше и Липе, отданным туда на воспитание, поволжские легенды. Впоследствии они почти слово в слово перекочевали в рассказ Мельникова “Гриша”. Но в повести Мельников не удержался от замечания, которое отсылает этот эпизод куда-то в публицистику: “А что, извольте вас спросить, нравственнее для девицы – весельчак Поль де Кок и Жорж Занд или простой, безыскусственный, но полный кипучей народной фантазии рассказ о сокровенном граде Китеже, о горах Кирилловых, и прочая, и прочая?”.

Ответ напрашивается сам: конечно, живая народная легенда, народная сказка, корнями уходящая вглубь национальной истории. А значит, светская образованность – ничуть не приоритетней монастырского воспитания в старообрядческом скиту.

Речь вовсе не о знакомстве с родным фольклором, который мыслится как своеобразный музейный экспонат или отжившая свой век диковинка. В скитском воспитании осуществляется преемственность исторической памяти, живое и зримое соприкосновение с прошлым, которое “прекрасно перед лицом Божиим”, сохранение и передача традиций, выработка личного, прочувствованного отношения к собственным корням и истокам. Именно то, о чем писал спустя несколько десятилетий Иван Ильин:

“Сказка будит и пленяет мечту. Она даёт ребёнку первое *чувство героического* – чувство испытания, опасности, призвания, усилия и победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие “правды и кривды”. Она заселяет его душу национальным мифом, тем хором образов, в котором народ созерцает себя и свою судьбу, исторически глядя в прошлое и пророчески глядя в будущее. В сказке народ схоронил своё вожделенное, своё ведение и ведовство, своё страдание, свой юмор и свою мудрость. <...> Ребёнок, никогда не мечтавший о сказках своего народа, легко отрывается от него и незаметно вступает на путь интернационализации”.

Матушка Измарагда стремится именно к этой-то цели: через легенду привить “первое чувство” жизни по правде Божией. Старообрядчество всё в этом чувстве. Именно поэтому “простой безыскусственный, но полный кипучей народной фантазии рассказ” ценнее литературной моды.

Персонажи “Заузольцев” станут героями дилогии “В лесах” и “На горах”. Измарагда рассказывала о Кирилловых горах, что у Малого Китежа на Волге. Когда плывёт по реке сплавная расшива (лодка), и на ней все люди благочестивы, горы расступаются, растворяются, как ворота, выходят оттуда “старцы лепообразные, един по единому”. “Процвели те старцы в пустыне невидимой, яко крини сельные и яко финики, яко кипарисы и древа не стареющая; просияли те старцы, яко камение драгое, яко многоценные бисеры, яко звёзды небесные”. Они просят плывущих передать поклон и заочное целование братьям Жигулёвских гор. Если это исполнить, расступятся и Жигулёвские горы, и вновь из них появятся праведники, а расшива сама собой понесётся, куда надо. Ежели забыть про ту просьбу, грянет ветер, “восстанет буря великая”, лодка потонет.

В старообрядческой легенде о невидимом граде Китеже и озере Светлояре, где он скрылся, заключено самое сокровенное – существующая на земле и до сего века, никем не уничтоженная высшая чистота веры и истина, непоруганная праведность, и попадёт туда лишь тот, кто ничего не утратит, всё претерпит. “Накинутся на тебя лютые демоны, нападут на тебя змеи огненные, окружают тебя эфиопы чёрные, заградит дорогу сила преисподняя, – а ты всё иди тропой Батыевой – пролагай стезю ко спасению, направляй сто-

пы в чудный Китеж-град. <...> Тамо — жизнь бесконечная. Час един — здешних сто годов... И не один таковой сокровенный град обретается; много их по разным местам и пустыням” (“Гриша”). Такой “град”, мне думается, пытался отыскать в юности Николай Клюев, уходя из Соловецкого монастыря. Но это особый сюжет.

В “Очерках поповщины”, а затем в романе “В лесах” прозвучала другая старообрядческая легенда: о чудесном Опоньском царстве и Беловодье, где, как и в Китеже, “нет татыбы и воровства”, нет светского суда, народом управляет духовная власть, остаётся несокрушённой православная церковная иерархия.

Китежская легенда имеет важное значение в движении сюжета в романе “В лесах”: по дороге к Светлояру и у самого озера завязываются новые сюжетные линии (Василий Борисыч и Параша), появляются новые герои, которые станут главными действующими лицами в следующем романе (Смолокуров, Дуня). Светлояр даёт возможность показать широкие группы паломников — особые человеческие типы⁵.

Вряд ли надо напоминать, что сказка и легенда значили для Жуковского, для Пушкина. От них, прежде всего, в этом понимании воспитательной силы сказки — прямая преемственность и с Мельниковым, и с Ильиным.

3. Хозяйство

Проблема народа (скажем уж так, научными словами) и изображения человека из народа в дилогии “В лесах” и “На горах” решалась Мельниковым в ракурсе национальной самобытности и перерастала, как выразился один исследователь, “в проблему осуществления классового самоопределения старообрядчества как выразителя будущих экономических преобразований, в силу чего конкретной единицей художественного измерения у писателя предстал не крепостной крестьянин, как, например, у Тургенева или Григоровича, но крестьянин государственный, богатый раскольник, тысячник”⁶. “Не то чтобы купец, не то чтобы мужик”, — как определял сам писатель тип центральных героев-“хозяев”. Неспроста Потап Чапурин в гостях у Колышкина бросает такую реплику: “Наше дело мужицкое, авось не замерзнём”, — настаивая, чтобы ночлег ему приготовили в беседке.

Прототипом Чапурина был нижегородский купец Пётр Егорович Бугров. Это не открытие. На это указывают давно.

Его внуку Николе Александровичу — одному из богатейших людей России — посвящён очерк М. Горького “Н. А. Бугров”. Два разных человека (но одна династия), два разных писателя (пусть оба нижегородцы), описание же ночлега — одинаковое. Один принцип, хотя и выраженный разными словами (“дело мужицкое”, “цыганом бы пожить”).

Вот “зарисовка с натуры” — Горький и Бугров ночуют в старообрядческом монастыре:

“Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров — в телеге, пышно набитой сеном, я — положив на траву толстый войлок. <...>

Он встал на колени и, глядя на звёзды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, окутался одеялом и крякнул:

— Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы не молитесь Богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог... должен быть! Иначе опереться не на что. Ну, спим...”

Мельников описывал именно ту группу людей, с которыми связывал экономическое становление страны, “русских хозяев”, если пользоваться определением Владимира Павловича Рябушинского — русского публициста, принадлежавшего к знаменитой династии старообрядческих промышленников. “Основатель фирмы, выйдя из народной толщи, сохранял до самой смерти тот уклад жизни, в котором он вырос, несмотря на то, что он уже являлся обладателем значительного состояния. Конечно, в его быту всё было лучше и обильнее, чем раньше, но, в сущности, то же самое. Хозяин не чувствовал себя ни в бытовом отношении, ни духовно *иным*, чем рабочие его фабрики. Но очень гордился тем, что вокруг него “кормится много народа”. В таком понимании своего положения бывший крепостной, а теперь первостатейный

купец совершенно не расхотился со средой, из которой он вышел. <...> Ему и в голову не приходило считать себя за своё богатство в чём-то виноватым перед людьми. Другое дело – Бог; перед Ним было сознание вины в том, что из посланных средств недостаточно уделяется бедным”⁷⁷. Крестьянское происхождение и глубокая религиозность – характерные черты старых русских купеческих фамилий, русского хозяина. Но Мельников описывает только одно поколение, самое первое. Действие его дилогии, несмотря на её внушительный объём, охватывает относительно небольшой отрезок времени – начало и середина 1850-х годов (это канун разорения поволжских скитов). В процитированной статье В. П. Рябушинского хоть и кратко, но сущностно точно обозначены черты последующих поколений, ведь они уже прошли перед его глазами, он писал свою статью “Судьбы русского хозяина” в другое, позднее время. Многие менялось как внутри “хозяйских” фамилий, так и вокруг. На хозяина наступал иной предпринимательский тип – “буржуй” (о нём чуть ниже).

Не могу представить, чтоб Чубайс или Греф, или ещё кто – выходцы из обуржуазившейся советской бюрократии, *имя же им легион*, – вот так вот укладывались спать, как Чапурин или Бугров. Не та порода. Не “хозяйская”.

Чтобы создать эффект достоверности, писателю требовалось погружение в быт, в создание особого вещного мира, особые стилистические поиски с подключением фольклора, чтобы герой действовал в дилогии на фоне и в тесной связи с культурой, сформировавшей его. Мы не имеем оснований отрывать мельниковских купцов от старообрядчества, опираясь на их негативные высказывания о его духовном состоянии (как пытался это сделать, например, забытый критик Леонид Багрецов в начале XX века).

Сложившийся десятилетиями идеал предпринимателя-старообрядца Мельникову с большой художественной и психологической убедительностью удалось воплотить в образе Потапа Максимыча Чапурина. Крестьянское происхождение, глубокая религиозность, проявляемая в быту, в отношении к труду, материальная поддержка скитов, домостроевская иерархия в семье не позволяют оторвать его от старообрядчества. Говорить, что Чапурин связан со староверием лишь благодаря тому, что это выгодно для его торговых дел, значит существенно обеднять понимание его образа.

Иван Ильин утверждал, что ребёнок должен с раннего возраста ощутить творческую радость и силу труда, его необходимость, почётность, смысл. Работа – не рабство. “В русском ребёнке должна пробудиться склонность к добровольному, творческому труду, и из этой склонности он должен почувствовать и осмыслить Россию как бесконечное и едва початое трудовое поприще. Тогда в нём пробудится живой интерес к русскому национальному хозяйству, воля к русскому национальному богатству как источнику духовной независимости и духовного расцвета русского народа. Пробудить в нём всё это – значит заложить в нём основы *духовной почвенности и хозяйственного патриотизма*”.

В большинстве своём наше “пореформенные” предприниматели скроены по другим лекалам. Мельниковский хозяин – это вызов им. Этих, наших, точно охарактеризовал ещё в середине 1880-х годов Глеб Успенский в очерке “Буржуй”. Замечательный очерк! Прямо о нашем времени, хотя писал Глеб Иванович, конечно, о своём. Если прошлое воскресает, если дух его узнаётся, если две эпохи вдруг кажутся похожими, как близнецы, значит, история идёт не по прямой, она движется кругами, как заблудившийся в лесу грибник.

Буржуа хоть что-то да созидает и отдаёт обществу. Успенский, впрочем, и тут иронизирует: “Возьмите вот хоть бы эту толстую колбасу с языком и с фисташками – один из бесчисленных продуктов умственной деятельности подлинной европейской буржуазии”; европейская колбасная мысль работала над ней долго: какой-нибудь колбасник Пфуль, убеждённый монархист, проведая, что Фридрих Великий любил колбасу и фисташки, решил объединить то и другое. И вот, “пожираемый чувством преданности”, он созидает новый продукт. Другой колбасник Шнапс, социалист и радикал, исходит в изготовлении колбасы из иных идей, но тоже “в целях общественной реформы создаёт и начинку, и форму колбас такие, какие соответствуют его убеждениям и могут способствовать осуществлению этих убеждений в общественном деле”. Умственная деятельность здесь “капельная”. Пусть. Но вот буржуй – ничего и никогда не создаёт собственным трудом или мыслительным усилием. “...Никогда личная “выдумка”, личная работа мысли, имевшие целью хотя бы

только личное благосостояние, не были свойственны ему в размерах, даже более ничтожных сравнительно с размерами умственной работы немецкого колбасника; никакого исторического прошлого, которое есть у колбасника, и никакого будущего, о котором колбасник позволяет себе фантазировать, никогда не было у нашего буржуа, и, вероятно, не будет”. Российский буржуй появился неожиданно, “точно с неба свалился”. Буржуйское сословие – это “сословие людей с кучей денег в руках, с кучей денег, не заработанных, не “нажитых”, не имевших, в огромном количестве случаев, даже плана истратить эти деньги. Какой-нибудь инженерик, инженерные предания которого не простираются далее возможности приворовывать по зёрнышку шоссещную щебёнку; какой-нибудь помещик, возлагавший все свои надежды единственно на троюродную тётку и её скорую смерть; какой-нибудь купчишка, не возлагавший ровно никаких надежд и полагавший только, что он рождён на свет именно только для того, чтобы играть в шашки около своей лавчонки с хомутами, – сегодня вдруг ни с того ни с сего оказались заваленными чуть не по шею всевозможными кредитами, кучами денег, такими кучами, которые не только устраняют мысли о щебёнке, тоску о долголетию тётки или терпеливое сидение около лавки с хомутами, но прямо становятся на высоту, с которой и инженер, и помещик, и купец даже самих-то себя, вчерашних... различить не могут, не могут узнать: “Я ли, мол, это, Ванька Хрюшкин?”

Ельцинский режим был катализатором формирования “буржуйского” класса.

Хозяин знает, что эта земля – его земля, другой – гость. Свинячит – на вилы и вон. Хозяин никогда не скажет: “Хотел, как лучше, а вышло, как всегда”. Кто так говорит, тот криворукый. Кто говорит, что целился в коммунизм, а попал в Россию, просто косоглазый и никчёмный, и не хозяин тоже. Ведь у хозяина всё и всегда на своём месте, и как он хочет, так всегда и выйдет.

Исчез ли навсегда в прошлое русский хозяин? Я надеюсь, я хочу думать, что нет, просто он незаметен и невидим, как тот самый легендарный град Китеж... Но он всегда связан со средой, его воспитавшей, он с детства умеет работать руками, он знает собственный род и семейную историю и не боится физического труда, если работает головой. Я встречал таких людей и в крупных городах, но, может, мне просто повезло. Впрочем, герои Фёдора Абрамова, Василия Белова, Евгения Носова, Петра Проскурина – тоже русские хозяева, хотя совсем другой эпохи...

Русскую литературу обвиняли в том, что в ней нет “апологии трудового успеха”, самореализации через профессиональную активность, нет “русской мечты личных достижений, подобной американской мечте”. “Трудовая инициатива, настойчивость, разворотливость, усердие, активность, энергия и – в результате усилий – успех и благосостояние не пользуются нравственной поддержкой отечественной классики и – тем более – преподающих её словесников. Моральное сочувствие предоставлено бездейственному несчастью и надеждам на некий “дар”⁸. Таким образом, обвиняются ещё и учителя... Но тут почему-то не делается сравнительный анализ с литературой зарубежной, почему-то не указывают, с какой же литературы должна брать пример наша классика? Может, с американской? Что-то ведь было сказано про “американскую мечту”. Только американская классика эту самую “мечту” лишь... разрушала. Ну, хотя бы Джека Лондона взять. Ведь какой плохой писатель! Вот у него ироничный рассказ есть – “Яичная афера”. Скупив у себя в Доусоне все яйца, девятьсот шестьдесят две (потом выяснилось – 964) штуки, герои, Смок и Малыш, приобрели, сами того не ведая, тухлые яйца четырёхлетней давности, ещё три тысячи штук, и, пытаюсь продать всё по десять долларов за яйцо оптом, прогорели. В итоге – полный крах и никакой “апологии трудового успеха”. Их самих обвели вокруг пальца более ловкие мошенники. И у каждого своя правда, каждый считает, что поступает честно. Вот она какая, “американская мечта”! Создавать мечту – дело публицистики и практической психологии. Дело литературы – правда.

А на самом деле в русской классике есть произведения, где “трудовая инициатива, настойчивость, разворотливость” и т. д. поставлены достаточно высоко. Это “В лесах” и “На горах”. И более того, обладатели этих качеств, Потап Чапурин и другие русские хозяева-старообрядцы – люди сугубо православные. Дело в другом. В том, что не всегда богатому легко сделать сердечное движение к сочувствию и добру. Но это – другая тема...

Есть в романе “На горах” эпизод, когда Марко Данилович Смолокуров, выстроив после пожара новые строения и избы для рабочих, прикидывает, сколько икон потребуется там разместить. “Надо в каждую избу и каждую светлицу иконы поставить. А зимних-то изб у меня двенадцать поставлено, да шесть летних светлиц. На каждую надо икон по шести. Выходит, без четырех целу сотню... Понимаешь? Целу сотню икон мне требуется, да десятка с два медных литых крестов, да столько же медных складней. Да на каждую избу и на каждую светлицу по часослову, да на всех с десяток псалтырей... Нечего делать, надо поубытчиться: пушай рабочие лучше Богу молятся да божественные книги по праздникам читают, чем пьянствовать да баловаться”. Дальше, когда разворачивается у него с Герасимом Чубаловым торг, он принимает решение купить иконы св. Вонифатия (так в тексте романа) и Моисея Мурина, которым молятся от запоя. “В каждой избе, в каждой светлице по Вонифатию поставлю. Потому народ ноне слабый, как за работником не гляди — беспреренно как зюзя к вечеру натянется этого винаща...” Потом отбирает иконы Феодора Тирона, “чтобы от воровства помогал”. Смолокуров прижимист, за копейку удавится, расчётлив, мелочен, “совесть у него под каблуком, а стыд под подошвой”, но таково требование жизни: “Торгуешься — крепишься, а как деньги платить, так плати, хоть топись, на этом вся торговля стоит...” Но он хоть понимает, что он — не благодетель. И всё же его сознание целиком и полностью религиозно, да — ещё религиозно, хотя дух века берёт своё, но Смолокуров не может помыслить, чтобы дом был без икон, без книг, и разбирается он в них безупречно. Хотя всё то, что он стремится сделать для рабочих, делает, в конечном счёте, из собственного расчёта, ведь если рабочие “страх-от Господень познают” — будут помирнее, однако ему при всей скупости (которая отлично сочетается с искренней любовью к дочери) не нужен рабочий скот, а нужен именно рабочий человек, и сознанием своим он глубинно укоренён в патриархально-религиозном укладе, как, собственно, и те, чей труд он покупает. Смолокуров всё ещё мыслит по-домостроевски, а на дворе — середина девятнадцатого века.

Разница между хозяином и буржуем в том, что первый действительно занимается экономикой в изначальном значении этого слова (экономика по-гречески — домостроительство), второй — хрематистикой, как назвал Аристотель искусство накапливать богатство. Он доказал, что это “две вещи несовместные”, две противоположности, что хрематистика разлагает общество.

А коли так, общество должно искоренять её.

Бороться.

Как?

Тут я вроде бы должен предложить свой рецепт. Я его не знаю. Но мне вспоминается один советский фильм, к сожалению, не помню его названия. Студент из Латинской Америки (если не ошибаюсь, это Никарагуа) учится в Москве и рассказывает историю о том, как индейцы взяли в плен конкистадора. “Ты хотел золота? Так напейся его досыта”. И залили ему горло расплавленным металлом. Я передаю суть, но могу ошибаться в деталях.

Кажется, тут есть некая мораль.

4. Язык

Более десяти лет назад, когда я работал редактором отдела культуры в “Учительской газете”, накануне Дня учителя потребовалось опросить нескольких известных людей, чем запомнился им в школьные годы какой-нибудь педагог, если такой, конечно, был. Я позвонил среди других Михаилу Леоновичу Гаспарову, известному литературоведу. Его голос, слабый и неторопливый, даже робкий, как мне тогда казалось, помню до сих пор. Не удивительно, что он стал рассказывать об учителе литературы.

— Был это 1949-й или 1950 год... Он задал учить наизусть всему классу отрывок из “Слова о полку Игореве”. Естественно, его, может быть, полушутя, кто-то тотчас спросил: “Учить по древнерусскому тексту или по переводу?”. Он ответил так, что даже последние двоечники выполнили его задание. А ответил очень просто: “У кого никакого художественного чувства нет, пусть учит по переводу. Снижать отметку не буду”. Приблизительно так... Преподавал он на высоком уровне... И я тем более могу подчеркнуть это сейчас, пройдя определённый путь в науке: он был учитель-профессионал. Возможно,

и без него я стал бы профессионально заниматься литературой, но он мне помог ещё в том раннем возрасте организовать себя⁹.

“Язык вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, всё прошлое, весь духовный уклад и все творческие замысли народа”. “Очень важно частое чтение вслух Св. Писания, по возможности, на церковно-славянском языке (! – **В. Б.**) и русских классиков по очереди всеми членами семьи, хотя бы понемногу; очень важно ознакомление с церковно-славянским языком, в котором и ныне живёт стихия прародительского славянства, хотя бы это ознакомление было сравнительно элементарным и только в чтении...” (Ильин). Героев не надо знакомить с этими принципами, они выросли на них. Языковое богатство Мельникова огромно, языковые маски удивительны. Фольклор и то, как он его использует, – самый изученный на сегодня аспект его творчества. “Прародительское славянство” с дохристианскими богами и народными верованиями возникает в диалогии особым, неизжитым пластом человеческой жизни.

Отличительная черта прозы Мельникова – в её особой поэтичности или, точнее, умении “опоэтизировать” то, что от поэзии, кажется, далековато, повседневность, например. Это подметил напрасно забытый в наше время Константин Федин: “Ночью неожиданно зачитался давным-давно не читанным Печерским. Что за чудо в познаниях языка, какое чутьё к речевому ладу! И вряд ли кто другой поэтизировал у нас с подобной любовью и с такой искусённостью быт. У наших литераторов сложилось высокомерное, презрительное отношение к бытовикам, а ведь не так-то много у нас осталось в литературе настоящих бытовых изобразителей – по пальцам пересчитать. И краткий пересчёт начинать-то надо, пожалуй, как раз с Мельникова-Печерского”¹⁰. Но быт – бытом. Бытовая деталь у Мельникова – это элемент фундамента, на котором держится русская жизнь. У него всякий предмет или поступок героя открывают особый культурный пласт русской жизни с укоренённым в национальной почве мировоззрением и смыслами. Вон та же расшива, на которой едут по Волге, – “парусное судно плоскодонной постройки”, если по Далю. Речная расшива от восьми до 24 саженой длины, поднимает 12–24 тысячи пудов, с кормы у неё огорожена “казёнка”, каютка лоцмана, а с носу – “косновская мурья”, посредине, меж двух переборок, – “ляляло”; от него по обе стороны – “мурья” для груза... Ляляло – “самый испод посередине судна, по бокам килля, где скопляется и откуда выкачивается вода”. Мурья – пространство между грузом и палубой, где укрываются в непогоду бурлаки, или трюм. И это не просто слова, это знаки национального бытия. Они напрямую связаны с сокровищем, уже названным ранее, – хозяйствованием.

Критик Александр Измайлов писал в 1909 году, что Мельников “приближается к Гомеру”, впадая в стилистику “первобытного былинного сказания”, по особенностям своего таланта он – “художник чистого эпоса”. “Что-то поистине гомеровское есть в его манере, и это сходство подкрепляется и некоторыми частностями, вроде готовности уйти всем своим вниманием в какую-нибудь бытовую частность, вроде описания, например, пышного купеческого обеда”¹¹. Мельников работал, как летописец. В его романах, через его слово, художественную деталь воссоздан и раскрывается особенный национальный космос, в котором живут люди, где всё взаимосвязано и логически выстроено, где всё мудро. Эти произведения – эталон, с которым мы сверяем ценности и смыслы собственной жизни. Мельников сам стал для нас одним из тех свидетелей, которых он любил описывать. Каково место Мельникова в нашей литературе? А каково место Гомера в литературе мировой?

В языке живёт, хранится, находит выражение, творческую силу национальный дух, национальное мышление. Характер народов отражается в значениях слов, в их сочетании друг с другом, это верно заметил ещё Вильгельм фон Гумбольдт. За мельниковским словом, неспешным, как волжская вода, и порой тяжёлым, будто мешок зерна, за словом, которое “лётся из полноты духовной жизни” (а ведь эту полноту необходимо прочувствовать, пережить самому, напитаться ею, ибо только так – через собственное чувствование чего-то, уже невыразимого словами, но кровно родного, своего и только своего, – можно осмыслить и попытаться передать духовное бытие). За этим самым словом возникает духовное своеобразие основ русского мировидения, русская исключительность, неповторимая русская самобытность. Его язык, его исторические пласты в романах, переплетённые друг с другом, – это отражение

и выражение работы духа; за внешним миром в романах Мельникова всегда стоит мир внутренний, мир русских ценностей и смыслов, и от читателя требуется особый труд его постижения.

Я говорил о том, как повлияла на формирование будущего писателя семья. Нужно упомянуть о его дружбе с Владимиром Далем, которая началась довольно рано, когда оба они, русский лексикограф и Мельников, жили в Нижнем. Коль скоро зашла речь об отношении к языку, о роли языка, о его чистоте, достоин упоминания ещё один человек, университетский преподаватель будущего автора “Лесов” и “Гор” Григорий Степанович Суровцов. Хочу привести короткое воспоминание Мельникова о нём:

“Прекрасно зная народный язык и создания народного творчества, песни, сказки, пословицы, Суровцов постоянно говаривал, что в них заключается чистый, ничем невозмутимый источник для настоящего литературного русского языка, которого ещё нет, но который будет, и будет непременно. Он постоянно внушал нам, что неисчислимый вред родному языку и литературе приносит введение в него множества иноязычных слов, употребляемых без всякой нужды. В подаваемых ему сочинениях, бывало, сохрани Бог написать какое-нибудь иностранное слово: засмеёт старик, тотчас скажет свою поговорку: “Пробавляться чужими словами – всё одно, что жить чужим умом”, – и за ней анекдот о Пушкине, которого знал лично, познакомившись с ним в то время, когда наш великий поэт ездил в Оренбург собирать материалы для истории Пугачёвского бунта. Однажды, говорил Суровцов, спросили Пушкина, как он находит даму, с которой он долго говорил, умна ли она? Поэт отвечал: “Не знаю, ведь я говорил с нею по-французски”¹².

5. Песня

- Бобёй, бобёй, кытшэ вэтин?
- Чожэ гуё вэтай.
- Мый да мый сёин?
- Визн нянён сёи.
- Мэим колинья?
- Коли тай.
- Пэшви тай да абу?
- Надь то сёд пон сёис.

Что-нибудь поняли? Это песня на пермяцком языке. Так записал её Мельников и включил в “Дорожные записки...”. Полный текст, до конца. Зачем-то ему это было нужно. Именно на пермяцком. Там же, ниже, перевод:

- Бабочка, бабочка, где ты побывала?
- Ненадолго в погребе была.
- Что да что ела?
- С маслом хлеб ела.
- А оставила ли мне?
- Оставила там.
- Я посмотрела там, да нет.
- Видно, чёрная собака съела.

И т. д.

Там, в “Дорожных записках...”, эту песню записывает спутник писателя, обозначенный псевдонимом М. Они втроем с неким пермяком сидят у Мельникова на квартире. Перевод его разочаровывает. “У М. с каждым словом пермяка лицо, и без того длинное, вытягивалось. Он разорвал в клочки свою бумагу”. Так или иначе, и оригинал, и перевод оказались на страницах “Отечественных записок”. Мельников спутнику (об этой песне про бабочку): “Я думаю, что и “Рамаяна”, и “Илиада” – пустое дело в сравнении с этою”.

Позже своеобразным собранием песен и легенд станут “Очерки мордвы”. Их там много, густо, и без них не понять народа... Песня, сказка, народное предание пройдут через всё творчество писателя – как нить, на которую нанизывают жемчуг.

Мельников подспудно понимал уже тогда то, что намного позже выразил Иван Ильин. Пение – творческая эмоция, оно помогает рождению чувства

в душе, через пение усваивается национальный “строй чувств”, оно дает “не-животное счастье” и, если говорить о русском песне, даёт его именно по-русски. Пение, особенно хоровое, организует жизнь, “оно приучает человека свободно и самостоятельно участвовать в общественном единении”.

Мельников делал то же дело, что и Пётр Киреевский, и другие собиратели русского “словесного жемчуга”. “Во Владимирской губернии в селе Нижний Ландех в 1855 году... встретил я на базаре безрукого нищего, распевавшего про Алексея Божия человека и т. п. “стихи”, Антона Яковлева, уже старика, ходившего с другими нищими певцами по базарам и сельским ярмаркам Владимирской, Костромской и частью Нижегородской губерний. Я записал со слов Антона Яковлева несколько былин о богатырях (которые лишь весьма незначительными вариантами отличаются от напечатанных в “Собрании песен” Киреевского), и, кроме того, несколько преданий о разных местностях верхневолжского края”¹³.

Нас делают русскими наши герои — герои былин, преданий и песен.

Многие персонажи “Лесов” и “Гор” поют, и эта диалогия могла бы называться энциклопедией русской народной песни.

У меня на полке стоит советское восьмитомное издание Мельникова в коричневых обложках из книжной серии “Библиотека “Огонёк”. Беру наугад пятый том. Пролистав несколько страниц, в пятой главе первой части “В лесах” встречаю бурлацкую песню про Астрахань, короткое четверостишие:

*Кому плыть в Камыши —
Тот паспорта не пиши,
Кто захочет в Разгуляй —
И билет не выправляй.*

Она подчёркивает одну особенность судебного предпринимательства: содержание беспаспортных рабочих. Тех, у кого не было никаких документов, именовали на Волге словечком “слепые”. Чуть дальше, на странице 101, — ещё бурлацкая песня с характеристиками жителей поволжских городов: Кострома — “гульливая сторона”, Юрьевец — “что ни парень, то подлец”, “а вот Нижний городок — ходи гуляй в погребок”, “вот Куманино село — в три дуги меня свело”, “рядом тут село Работки — покупай, хозяин, водки” и т. д.

Ещё через несколько страниц, в седьмой главе, — интереснейший эпизод. В трактуре сидят купцы “рыбники”, старообрядцы. К ним подходит певица, “молоденькая немочка в розовой юбке, с чёрным бархатным корсажем”. Просит пожертвовать “на ноты”.

— Не подаём, — молвил Орошин, грубо отстраняя немку широкой ладонью.

Та кисло улыбнулась и пошла к соседнему столику.

— Что этого гаду развелось ноне на ярманке! — заворчал Орошин. — Бренчат, еретицы, воют себе по-собачьему — дела только делать мешают. В какой трактир ни зайди, ни в едином от этих шутовок покою нету.

И плюнул в ту сторону, куда немка пошла.

— Кто нас с тобой помоложе, Онисим Самойлыч, тем эти девки по нраву, — усмехнувшись, пискнул Седов.

— Оттого и пошла теперь молодёжь глаза протирать родительским денежкам... Не то, что в наше время, — заметил Сусалин”.

Тут нет песни.

Этот эпизод — об отношении к песням, в которых светится соблазном то противное героям “животное счастье” (дело-то не в том, что певичка — немка). Мне хочется пофантазировать: перенести их в наше время, на современный новогодний “Голубой огонёк”. Наверное, слова “гаду развелось” были бы самыми мягкими... Трактирные песни зазвучат через несколько страниц, купцы ещё выйти не успеют. А потом, дальше, будут особые старинные песни, которые поют на волжских судах, и грустные, и весёлые — “под бражку”, а точнее “волжский квасок”. “Так зовётся на Волге питьё из замороженного шампанского с соком персиков, абрикосов и ананасов”. Когда нельзя выразить свои чувства прямо, можно заказать песню. Так поступает Пётр Самоквасов.

“Подошёл он к запевале, шепнул ему что-то и отошёл к корме. Запевало в свою очередь пошептался с песенниками”. И по команде “грянула живая, бойкая песня”:

*Здравствуй, светик мой, Наташа,
Здравствуй, ягодка моя!
Я принёс тебе подарок,
Подарочек дорогой.
Подарочек дорогой:
С руки перстень золотой,
На белую грудь цепочку,
На шеюшку жемчужок!
Ты гори, гори, цепочка,
Разгорайся, жемчужок!
Ты люби меня, Наташа,
Люби, миленький дружок!*

Песня – это объяснение. Это опыт переживаний, кипение жизни. А здесь, в этом эпизоде, – намёк на любовь.

Звучат в диалогии канты (“псалмы”) – духовные стихи (в том числе хлыстовские), старообрядческое унисонное пение скитниц. По песням Мельникова можно написать целое исследование.

Беру седьмой том, куда вошло окончание “На горах”. Хочется заглянуть в самый конец романа. Глава четвёртая четвёртой части второй книги. Тут описывается заготовка капусты на зиму. На двух страницах песня про “матушку-капусту” с комментарием: “Ещё с той поры поётся она на Руси, как предки наши познакомились с капустой и с родными щами. Под напев этой песни каждую осень матери, бабушки и прабабушки нынешних девок и молодок рубили капусту”.

*А капуста-то у нас
Уродилась хороша,
И туга, и крепка, и белым-белёшенька.
Ой люли, ой люли,
И белым-белёшенька.*

*Кочерыжки — что твой мёд,
Ешьте, парни, кочерыжки —
Помните капустки.
Ой люли, ой люли,
Помните капустки.*

*Отчего же парней нет,
Ай зачем нет холостых
У нас на капустках?
Ой люли, ой люли,
У нас на капустках.*

И эта песня не последняя. Дальше ещё будут. В каком ещё русском романе поют больше?

6. Молитва

Об отношении Мельникова к молитве, а если шире – вообще к вере, свидетельства не так уж много, и нельзя исключить, что он не терзался теми же сомнениями и мыслями, что изложены Толстым в его “Исповеди”. Сын писателя Андрей привёл в воспоминаниях один эпизод, как он приехал сообщить о смерти отца его однокашнику по Казанскому университету известному востоковеду Василию Павловичу Васильеву. Тот жил в Петербурге. “Васильев, выслушав меня, занёс было руку перекреститься, но только отмахнулся, сказав: “Ведь мы с покойником чужды были религиозных предрассудков”. Васильев в действительности был “чужд предрассудков” и остался, как говорят, верным себе до последней минуты жизни, но отец, вообще не будучи, впрочем, слишком религиозным и даже многими считавшийся за атеиста (не совсем справедливо), под конец жизни, незадолго до полной потери разумного сознания, отчасти вдавался даже в противоположную крайность”¹⁴.

В целом, как можно отсюда заключить, особенно церковным человеком Мельников не был, скорее теплохладным. При этом старообрядческие сочинения, в том числе богословские, он великолепно знал, прекрасно разбирался в иконописи¹⁵. Он трепетно относился ко всякой мелочи, описывая старообрядцев, особенно если это касалось устава. Тот же Андрей Мельников опубликовал письмо отца, адресованное бывшему старообрядцу Василию Борису, с вопросами: поётся ли ирмос «Житейское море воздвизается» на поминованиях или его только читают, и что поют при пострижении?¹⁶ Положительные герои дилогии себя без молитвы не мыслят (мы помним, что отличительная черта русского хозяина – глубокая религиозность).

«Ребёнок, научившийся молиться, сам пойдёт в церковь и станет её опорой – русской опорой, русской церкви. Он найдёт пути – в глубину русской истории и на простор русского возрождения» (Ильин). Каждый народ обращается к Богу по-своему. «Живое многогласие и многоваление Господа, идущее от мира, требует, чтобы каждый народ молился самобытно; и эту самобытную молитву надо вдохнуть ребёнку с первых лет жизни».

В том и дело, в том и беда, что история послераскольной синодальной церкви мало-помалу утрачивала русскую самобытность. Мне в этой связи часто приходят на память слова не многим пока известного публициста Василия Гавриловича Сенатова из его работы «Философия истории старообрядчества», которую он опубликовал в 1907 году на страницах старообрядческой газеты «Слово правды», а затем, в следующем году, при поддержке Союза старообрядческих начётчиков выпустил отдельной брошюрой. Эти слова – завершающие в ней. Будет длинная цитата, но пересказывать не хочется. «Никоновские реформы имели то значение, что ими русский народ отстранялся от непосредственного участия в делах церковных, и накопленные в течение долгих веков религиозные знания откладывались куда-то в сторону. Наряду с этим главенствующее значение получала бесконтрольная воля и власть иерархии, и взамен народного веропонимания выдвигалось на первое место понимание иное, принесённое из чужих стран. Эти народные знания не могли быть заглушены никакими новыми течениями, никакую властью они не могли быть исторгнуты из духа народного. Старообрядчество и есть история того, как русский народ проявляет свои веками скопленные религиозные знания, как эти знания, иногда совершенно неожиданно, выбиваются на Божий простор и распускаются в пышные и дивные творения. История господствующей церкви, в сущности, представляется историей того, как заносились на русскую землю и прививались к ней инородные религиозные веяния сначала новогреческие, затем латинско-католические и, наконец, протестантские. В сообразность этому история старообрядчества есть история развития собственно русской религиозной мысли, зарождённой в глубине веков, задавленной было при Никоне, но никогда не утратившей своих жизненных сил, растущей стихийно»¹⁷.

Эта самая русская религиозная мысль с её ценностями, сокровищами, исканиями и блужданиями, история этой мысли, корнями уходящей в эпоху нашей национальной трагедии – церковного раскола, тоже исследуется в романах. И хотя писатель не ставит здесь окончательной точки, его симпатии на той стороне, которая держится всеми силами за традицию, за обычай, за прародительский уклад. Не потому плачет столетний старик в «Дорожных записках на пути из Тамбовской губернии...», что бороды ему жалко и кафтан обкромсали, а потому, что вводится «немецкий» закон и порядок, чужеземный уклад, чужое мироощущение. И, завернув отрезанную бороду в отрезанные полы кафтана, уходят мужики по домам под вой жён, одинаково с ними осознающих, что пришла беда.

А пришла беда – отворяй ворота.

Я думаю о том, что национальное начало и вера, религия, очень тесно связаны. Смерть народа – это смерть его религии.

Говорят, что старообрядцы держались за «единый аз». За мелочи. Хорошо, пусть так. Только почему же тогда так упорно нужно было внедрять их, лишать из-за них прав, ссылать и казнить? Почему нельзя было оставить эти «мелочи» и вернуться к прежней «церковной старожитности» (выражение из «Книги о вере»)? Почему невозможно это даже сейчас? Значит, не мелочи это были. Не в мелочах дело.

«Представьте себе, что святую икону, пред которой молилась ваша мать, хотят выбросить в грязь, чтобы поставить на место её новую, лучшего письма...»

Вы не захотите такого кощунства. Вы скажете: “Моя старая икона дорога мне: около неё пролило так много слёз, вознесено к Творцу всяческих так много вдохновенных и тёплых молитв! Она мне дороже всякой другой!..”

Мало того, вы, пожалуй, враждебно отнесётесь к новой иконе. Почему? Очень просто. Её принесли кощунственные, злые руки, которые хотят бросить святыню в грязь, и прикосновением своим они запачкали святое...

И вы будете, очевидно, правы, если отнесётесь враждебно к людям, которые оскорбляют ваши верования и святыни. Но именно в таком положении оскорблённых были приверженцы старого обряда в момент их ухода из никоновской церкви. Ломали их св. перстосложение для крестного знаменья, их обряды, изменяли богослужение...

Пусть новое (допустим на время) было так чисто, свято, как старое, но разве это старое худо? Чем? Докажите!.. Вы знаете, что нам все эти обряды, вся эта старина — дороги, как могилки наших отцов и матерей, как священные останки угодников Божиих... Вы ломаете... Пожалейте нашу привязанность к святыням, нашу душевную сросченность со “старым”¹⁸.

Выкиньте из алфавита “единый аз”, и вы не сможете говорить.

А этот самый “аз”, за который до смерти стоял протопоп Аввакум, был из Символа веры.

Стремление удержать любую мелочь, пусть действительно несущественную, обусловлено стремлением удержать сакральную связь времён и поколений.

За дониконовскую молитву слишком много было пролито крови, чтобы легко от неё отказаться.

7. Поэзия

Иван Ильин отмечал, что стихи учат духовному восторгу, побуждают душу прислушиваться к сокровенной жизни людей и вещей. Всё постигается через чувство. “Как только ребёнок начнёт говорить и читать, так классические национальные поэты должны дать ему *первую радость стиха*. . .” “Русский человек, с детства влюбившийся в русский стих, никогда не денационализируется”.

Интерес Мельникова к поэзии начинался с дедушкиной библиотеки. Тот не жалел денег на книги. В автобиографии писатель отмечал, что там имелись переводы греческих и римских классиков, исторические сочинения, переведённые с французского путешествия, издания Н. И. Новикова, сочинения всех русских писателей от Кантемира до Ломоносова и Карамзина. “Когда он (дедушка. — **В. Б.**) ослеп, он заставлял дочерей читать ему вслух и всё дожидался, когда мы, его внуки, выучимся грамоте и будем читать слепому дедушке”¹⁹. Вот так. А мы тут головы ломаем, “как приобщить ребёнка к чтению?” Меня уже смешат семинары с подобным названием. Всё начинается с семьи, а школа только даёт основы грамоты.

В другой автобиографии писатель подчёркивал особую роль матери, развивавшей его интерес к русской поэзии. В десять лет Мельников переписывал от руки в толстые тетради сочинения Пушкина, Баратынского, Дельвига, Жуковского. В двенадцать лет знал наизусть всю “Полтаву”, множество отрывков из “Евгения Онегина”, не говоря об отдельных стихотворениях²⁰. Переписывание — особый способ изучения. Когда ваша рука выводит букву, вы чувствуете и постигаете дух произведения. Поэтому, чтобы понять, что такое старообрядчество, Никита Петрович Гиляров-Платонов, известнейший публицист второй половины XIX века, сам переписал от руки “Поморские ответы”. За исключением профессиональных археографов, которые специально занимаются этим памятником, я не назову ни одного “старообрядчествоведа”, который бы сделал то же самое.

Неудивительно, что Мельников сам пробовал писать стихи.

Собственные поэтические опыты он не считал удачными, хотя кое-что успел опубликовать, например, перевод стихотворения Адама Мицкевича “Великий художник” в “Литературной газете”:

*Люди живут лишь для тела: прежде они понимали
Мысль и идею Великого Бога твёрдою верой.
Ум ограниченный черпал из кладезя света живую*

*Воду, и ей наполнялся. Ум был уж полон, но много
В кладезе было воды; верой единой мог он
Всё остальное исчерпать. Верою он понимал мысль,
Истину, тайну. Когда же в гордости буйной хотели
Люди назвать своим братом Того, кто им объяснил мысль,
Истину, тайну — и веру оставили, ум в заблужденье
Думать стал, будто бы всё он постиг, будто бы мысли
Нет в той воде, которую он исчерпать не может.
Людям не стало понятно Творца откровенье. Так в мире
Остался великий художник не понят...
Что ж ты, художник земный, что же ты ропщешь на небо?
Или тебя оскорбили толки людей о твоём дарованье?
Вспомни: художник эфира, миров, гармонии и слова
Ими не понят. Чего от людей ожидать? Не понят
Ими остался великий художник!²¹*

Один из первых поэтов, с которым Мельников мог обменяться парой слов (хотя вряд ли, иначе бы он об этом упомянул), — это Василий Андреевич Жуковский. Было это 18 июня 1837 года в Казанском университете, когда туда приехал наследник, цесаревич Александр Николаевич, путешествовавший по России. На встрече присутствовал, конечно, и тогдашний ректор Николай Лобачевский. “Цесаревич сказал нам несколько тёплых приветственных слов и при наших криках “ура” пошёл далее по университету. В зале остались двое из сопровождавших цесаревича. Один — высокий ростом, с задумчивым видом и кроткими, сиявшими душевною красотой глазами, другой — невысокий, с умным лицом и проницательными глазами. Во всей свите только они двое были во фраках. Они подошли к кандидатам словесного факультета и ласково разговаривали, кто куда намерен поступить по выходе из университета. То были знаменитый наш поэт Жуковский и первый разработавший отечественную статистику по правилам науки Арсеньев²².”

Тон, с которым это написано, можно определить одним словом — благоговение.

У писателя сложились дружеские отношения с поэтом Аполлоном Николаевичем Майковым. Дочь Мельникова Мария Павловна вспоминала в первые годы советской власти, что они довольно часто встречались, когда писатель жил в Петербурге, и именно Майкова она запомнила особенно отчётливо. Маленькой девочкой она читала поэту его “Ниву” (“По ниве прохожу я узкою межой...”). “...Каждый раз меня заставляли читать ему это стихотворение, и он, бедный, не только терпеливо слушал, а даже сажал меня к себе на колени, ласкал и кормил конфетами²³.”

Между прочим, “Нива” Аполлона Майкова — стихотворение действительно замечательное. Великолепная иллюстрация той мысли, что высказал уже в другом веке Варлам Шаламов, мысли о том, что лирика пейзажная есть в то же время неразрывно и лирика гражданская. Неспроста в семье Мельниковых с девочкой рзучили именно эти строки.

*О боже! Ты даёшь для родины моей
Тепло и урожай, дары святые неба,
Но, хлебом золотя простор её полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!
Уже над нивою, где мысли семена
Тобой насажены, повеяла весна,
И непогодами несгубленные зёрна
Пустили свежие ростки свои проворно.
О, дай нам солнышка! пошли ты вёдра нам,
Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!
Чтоб нам, хоть опершишь на внуков, стариками
Прийти на тучные их нивы подышать
И, позабыв, что мы их полили слезами,
Промолвить: “Господи! какая благодать!”*

8. Жития святых и героев

“Чем раньше и чем глубже воображение ребёнка будет пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем лучше для него. Образы святости – пробудят его совесть, а русскость святого – вызовет в нём чувство соучастия в святых делах, чувство приобщённости, отождествления; она даст его сердцу радостную и гордую уверенность, что “наш народ оправдался перед лицом Божиим”, что алтари его святые и что он имеет право на почётное место в мировой истории (“народная гордость”). Образы героизма – пробудят в нём самую волю к доблести, пробудят его великодушные, его правосознание, жажду подвига и служения, готовность терпеть и бороться; а русскость героя – даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Всё это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера” (Ильин).

Жития – одно из распространённых жанровых включений в романах Мельникова. Речь идёт не только о дораскольных русских святых, но также об исповедниках и мучениках старой веры (протопоп Аввакум, преподобные подвижники Керженца Арсений, Софонтий, Варлаам). Их жизнь и подвиг – пример для подражания. “... Ходом повествования, характеристиками персонажей он, в конечном счёте, пытался утвердить то, что утверждали в своих творениях древние агиографы, – пишет современный исследователь, – незыблемость нравственных ценностей, в равной степени пригодных для всех времён, всех народов и всех сословий”. Здесь были свои достоинства и недостатки. “Он даже не задаётся вопросом, в чём кроется источник нравственного совершенства этих персонажей, не пытается показать обусловленности этих характеров окружающей жизнью. Причину их “благоепия” и “благоеобразности” автор видит в том, что они изначально “прилежали добродетели”. Но всё это чрезвычайно напоминает предопределённость характеров и поступков в средневековой литературе и вызывает у современного читателя чувство неудовлетворённости и недосказанности”²⁴.

Будучи членом Нижегородской учёной архивной комиссии, писатель с 1845 по 14 мая 1850 года редактировал неофициальную часть “Нижегородских губернских ведомостей”, где опубликовал множество статей, посвящённых нижегородской старине и знаменитым нижегородцам (“Иван Петрович Кулибин”, “Памятники похода Иоанна IV на Казань по Нижегородской губернии”, “Смерть Александра Невского в Городце”, “Первое пребывание в Нижнем Новгороде Петра Великого” и др.). Он открывал и восстанавливал героике прошлого родной ему земли. Получив исходившее от императора Николая I задание выяснить судьбу потомков Козьмы Минина, писатель уточнил полное имя величайшего русского патриота²⁵. Вскоре появилась пьеса Островского, посвящённая ему, названная именно так, как указал Мельников: “Козьма Захарыч Минин-Сухорук”. Потомков у него не оказалось...

В 1865 году Мельников принял участие в организации торжеств по случаю столетнего юбилея со дня рождения М. В. Ломоносова. Насколько знаковым и символическим остаётся его имя для отечественной науки по сей день, не стоит говорить. Описание события он издал отдельной книгой²⁶.

Героика связана ещё с одной темой, о которой пойдёт речь впереди, – армия. Пока же один эпизод. В 1876 году началась война Сербии и Черногории против Турции, в которой принимало участие множество русских добровольцев. Вспыхнуло восстание в Болгарии. В 1877-м Россия объявила войну Турции. Ушёл на неё добровольцем и сын писателя Николай. В августе 1876 года Мельников прочитал в “Новом времени” сообщение о походных церквях, приготовленных для сербских войск²⁷. Газета приводила текст телеграммы генерала М. Г. Черняева, писавшего, что для трёх его корпусов необходимы походные церкви и певческие хоры. Славянский благотворительный комитет обещал отправить церкви в Сербию в самом ближайшем времени.

Мельников сразу написал письмо А. С. Суворину – издателю “Нового времени”. Церкви будут освящены в Белграде, – излагал он свои предложения, – освящение их вне пределов автономной сербской церкви не совсем согласно с церковными правилами. Но в каком из храмов и во имя какого святого должны быть освящены походные церкви? Этот святой должен быть одинаково почитаем и сербами, и русскими. Мельников стремился обосновать мысль, что только в Москве есть место для молитв за победу сербов.

Это Успенский собор Кремля. В письме, как и во многих своих служебных записках, писатель увлёкся и сделал экскурс в историю. Вообще, ему было свойственно уходить вглубь времён, чтобы объяснить или найти ответ на вопросы современных событий.

“В последней четверти XIV века одновременно Сербское царство пало под ударами мусульманской орды на Косовом поле, а Русской земле, уже полтора-два десятилетия томившейся под игмом такой же мусульманской орды, воссиял дар освобождения на поле Куликовом <...>.”

Вскоре по падении Сербского царства к нам в Москву приехал серб Киприан, ставший митрополитом всей Русской Земли. Он привёз с собой из разрушенной его родины множество книг и во всё время, когда он пас православную Русскую Церковь, неослабно работал о восстановлении в ней погибнувшего просвещения. Киприан Сербин был восстановителем русского просвещения. Такого деятеля дала нам <...> Сербия, и мы за это одно уже в долгу у неё, не говоря даже о той помощи, которую сербы направили нам во время Петра Великого во всех войнах против и Турции”²⁸.

Мощи Киприана Сербина покоились в Успенском соборе, на правой стороне у алтаря возле медного шатра, устроенного при царе Михаиле Фёдоровиче для ризы Господней. Из Сербии это только один русский святой, подчёркивал Мельников. У его мощей нужно молиться за добровольцев, уходящих “на братскую помощь сербам”.

Какой русский не любит быстрой езды? А какой русский сейчас, сходу, как писатель, вспомнит об этом святом, знает о нём?

На житиях и христианских преданиях (И. С. Тургенев противопоставлял их сказке) воспитана была Лиза Калитина из “Дворянского гнезда”.

Незамеченным оказался спор вокруг её образа в начале XX века. Поэтому я немного отступлю, чтобы рассказать о нём. Кстати, от него тянется ниточка и к Мельникову.

В сентябрьском номере “Богословского вестника” за 1902 год философ и богослов Михаил Тареев опубликовал статью “Типы религиозно-нравственной жизни”²⁹. Он рассматривал героев отечественной литературы. Первая группа характеризуется преобладанием “земного”. Это люди, “которые при религиозном настроении с различною степенью силы, иногда значительной, живут всецело мирскою жизнью, во всей полноте её страстей, интересов и целей. Религия в их жизни — это одно из ценных средств достижения земных целей...” Сюда попал Потап Чапурин. В прокрустово ложе тареевской типологии со всей сложностью того характера, который создал Мельников, он не влез. Богослов ухватился только за то, что хотел в нём увидеть. Мельниковский характер — не только быт, но также психология и философия, сложная совокупность, сложнейшее отражение русского миропонимания. Да что один герой! И самого писателя понимали (и понимают) однобоко. Я солидарен с точным замечанием Измайлова: “Его романы появились уже тогда, когда русская критика оскудела. Большинство критиков не рассмотрело ничего, кроме внешних форм и внешних фактов мельниковского рассказа. <...> Она не хотела постигнуть синтеза работы Печерского и не могла точными словами уяснить читающей публике, почему он ей так нравится и так врежется в память, почему по прочтении “В лесах” и “На горах” ей становится в такой мере понятна русская душа”³⁰. Тареев с его предвзятостью не исключение.

Разновидность этого первого типа — человек, который “не имеет вне религии интересов, но в религии не имеет ничего, кроме своих личных интересов, своих страстей”. Тут в одну упряжку с Чапуриным оказался запряжён... Великий Инквизитор.

У второго типа “божественное или внешне преобладает над человеческим, не давая ему свободы жизни и развития, или же внутренне овладевает им, свободно проникает его, принимая его на служение в полноте его естественной жизни и развития”. То есть, не будучи никаким инструментом или средством, превалирует над всем земным. “Подавлять страсти и привязанности, умерщвлять плоть, освободить дух от оков телесных потребностей и земных отношений считается единственным призванием человека. Мир есть скверна, исключительное значение которой в том, что она даёт возможность добродетели воздержания, победы над искушением”. Тут Тареев тоже

выделяет две подгруппы. В одной — Лозовский из “Живой жизни” И. М. Потапенко (раньше-то его читали все, а теперь, кроме конкутных литературоведов, никто), в другой — Егор Егорыч Марфин из “Масонов” А. Ф. Писемского, и где-то между ними — Аглая (“Девятый вал” А. П. Данилевского) и Лиза Калитина. Она только упомянута, “причислена” сюда. Одним штрихом. Анализ образа в статье нет.

Тип гармоничного сочетания “земного” и “небесного” — Алёша Карамазов.

Тареев ставил задачей разобраться, в чём христианское призвание человека, смысл его духовного возрождения. основополагающий принцип русской этики, по его мнению, должен строиться на евангельских (довольно общих) словах “Бог есть дух; и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине”.

Отвечая Тарееву, целую статью посвятил Лизе Калитиной в “Русском альманахе” иеромонах Михаил (Семёнов), будущий старообрядческий епископ. Его понимание этого образа мне кажется очень интересным.

“Вы помните беседу Лизы с Лаврецким о религии. Лаврецкий говорит ей о значении религии в истории, о значении христианства. Лизе не всё понравилось в его речи. “Христианином нужно быть, — заговорила не без некоторого усилия Лиза, — не для того, чтобы познать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть”. Эти-то слова (из главы XXVI. — В. Б.) и послужили основанием для обвинений против Лизы.

Говорят, будто христианство Лизы не истинное, мёртвое христианство. Это будто бы тип, противоположный типу Алёши Карамазова, который любит жизнь, способен творить жизнь и преобразовывать её по духу Христову. Неприятно и больно было прочитать эти строки. Неприятно потому, что в них выразилось то же нежелание понять основную мысль русского христианства, какое выразилось в постоянных нападках на него в светской литературе. “Церковь, — говорят, — думает только о смерти, благословляет только похороны, совсем не интересуется жизнью земною, преобразованием и ростом этой земной жизни. Церковь умерла и поклоняется только смерти”.

Мы решаемся защищать Лизу не потому только, что нам симпатичен этот чистый и светлый образ девушки, в которой ярко горела искра огня Божия. Как видите, это вопрос принципиальный. Здесь решается вопрос, истинно или неистинно то понимание христианства, представительницей которого явилась Лиза, потому что, повторяю, она несомненно *носителница общерусского религиозного понимания*. Что такое Лиза? Существенная черта её характера, как я понимаю этот грациозный образ, *очарованность образом Христа, слияние с Христом в Его духе и любви Его*. Лиза приняла вполне Христа в свою душу. Образ Его всегда носился перед ней и определял каждое её дело и даже каждую мысль. С самых ранних лет Лиза жила под обаянием Христова образа. Эту душу всегда наполняло чувство религиозное. “Глаза её, ещё ребёнка, — говорит Тургенев, — светились тихим вниманием и добротой, что редко в детях”. Самое воспитание она получила в церкви, в храме. Она полюбила храм, как любит его народ наш, и там она нашла утверждение того, что жило в душе её. Она воспринимала в свою душу учение веры не в сухом изложении катехизиса или учебника, а в живом действии, в живом открытии самой веры”³¹.

Иеромонах Михаил в своей статье делает акцент на сочувственном переживании церковной службы. Но это только один узкий момент.

Кем же было сформировано это “общерусское религиозное понимание”? Задаю этот вопрос потому, что он непосредственно связан с ильинским “сокровищем”.

Няней Агафьей Власьевной.

Воспитанию Лизы отводится особая XXXV глава в “Дворянском гнезде”. Оно основано именно на ильинском принципе “живых образов национальной святости”. Потому-то следующая воспитательница, “легкомысленная француженка” Моро, “не могла вытеснить из сердца Лизы её любимую няню: посеянные семена пустили слишком глубокие корни”.

“Странно было видеть их вдвоём. Бывало Агафья, вся в чёрном, с тёмным платком на голове, с похудевшим, как воск, прозрачным, но всё ещё прекрасным и выразительным лицом, сидит прямо и вяжет чулок; у ног её, на маленьком креслице, сидит Лиза и тоже трудится над какой-нибудь работой или, важно поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья; а Агафья

рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие Пречистой Девы, жития отшельников, угодников Божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, — и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали. “Желтофиоли?” — спросила однажды Лиза, которая очень любила цветы... Агафья говорила с Лизой важно и смиренно, точно она сама чувствовала, что не ей бы произносить такие высокие и святые слова. Лиза её слушала — и образ вездесущего, всезнающего Бога с какой-то сладкой силой втеснялся в её душу, наполнял её чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть не родным. Агафья и молиться её выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо её одевала и уводила тайком к заутрене; Лиза шла за ней на цыпочках, едва дыша; холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, — вся эта смесь запрещённого, странного, святого потрясала девочку, проникала в самую глубину её существа. Агафья никогда никого не осуждала и Лизу не бранила за шалости. Когда она бывала чем недовольна, она только молчала; и Лиза понимала это молчание...”

И т. д.

Лиза “жила вечным. Но значит ли это, что она не годилась для жизни? Значит ли это, что христианство её было мёртвым, самозамкнутым и, следовательно, эгоистическим христианством? Нет! Считая земную жизнь началом вечности, она, конечно, любит и её как дар и подвиг, святой и прекрасный”³².

В монастырь она ушла потому, что “не хотела мешать возрождению семьи Лаврецкого, возвращению Христа к этому разрушенному очагу”. О судьбе её няни Тургенев сообщает только то, что, по слухам, она “удалилась в раскольничий скит”. Следующая строка: “Но след, оставленный ею в душе Лизы, не изгладился”.

Так кем она была, её няня?

Старообрядкой? Как будто нет... Но откуда скит?

Её прошлое за рамками романа. Как могла сочетаться искренняя приверженность к официальной “великороссийской церкви” (как называли её герои Мельникова) с постоянными службами в приходском синодском храме со старообрядчеством? Всё это мы вынуждены отнести к области интерпретаций и предположений. В жизни возможно всё, даже такие перевороты. Но тут, в романе, этот “тёмный слух” про “раскольничий скит” потребовался, по-моему, лишь для того, чтобы подчеркнуть подлинность религиозного чувства няни Агафьи Власевны (а следовательно, её воспитательной методики), в особенности после ставшего знаменитым письма Белинского к Гоголю от 15 июля 1847 года, в котором критик полностью отрицал русскую “официальную” церковность и религиозность (“русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме...”), зато и вместе с тем, как говорил Белинский несколькими строками ниже, “религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно”³³.

Няня Лизы Калитиной должна была быть “исключением” из этой “массы”.

9. Армия

В этой связи вспоминаю небольшую заметку Мельникова о том, как в нижегородском театре поставили пьесу совершенно забытого ныне военного деятеля, писателя и драматурга Ивана Никитича Скобелева “Кремнев, русский солдат”. Она посвящена Отечественной войне 1812 года и последующим заграничным походам русской армии, в которых, к слову сказать, принимал участие и отец писателя Иван Иванович Мельников, вышедший в отставку только в 1819 году. Нужно ещё оговориться, автор “Кремнева” — дед известного русского полководца Михаила Дмитриевича Скобелева, в Отечественную войну — адъютант М. И. Кутузова, затем боевой генерал, оставшийся без руки при усмирении польского восстания 1830–1831 годов. Снова удивительная преемственность: дед и внук.

“Кому неизвѣстен “Кремнев”? – восклицал с патетической ноткой Мельников в “Литературной газете” А. А. Краевского. – Чьѣ русское сердце не билось по-русски во время этого представления, несмотря на то, что написано-то оно не больно изряднѣхонько? (словечко И. Н. Скобелева. – В. Б.). Я говорю это в том смысле, что “Кремнев” в чтении оставляет в душе столько же пустоты, сколько чувства во время представления”. Талантливость драматурга, иначе говоря, заметна не в кабінете, а именно в театральном зале. Нижегородские актѣры “вытянули” пьесу.

Пожалуй, начинающий писатель прав. Характеры в “Кремневе” – заданные, и какой-либо динамики в их развитии не предполагается, стиль всюду ровный – восторженно-возвышенный, тема выбора между личным и общественным (разумеется, в пользу общественного долга) выдаѣт приверженность к уже сошедшему со сцены классицизму... Кремнев (фамилия “говорящая”) – отставной унтер-офицер, служит при помещице вдове Варваре Русовой, присматривая за еѣ сыном, попутно обучая его воинской премудрости. Владимир Русов желает поступить на воинскую службу, мать, разумеется, против. Кремнев с его прибаутками и шутками – образец суворовского солдата, готового в любое время сражаться и умереть за веру, царя и Отечество, ибо выше этого никаких идеалов для него нет. Тут приходит известие о войне с Наполеоном. Из чувства патриотического долга матери приходится уступить. Владимир Русов с Кремневым уходит воевать, доблестно сражаются, пишут домой трогательные письма, возвращаются с победой (вся война в пьесе проходит “за сценой”), и помещица-мать подбирает солдатам, старому и молодому, по жене. В общем, почти идиллия, никаких сословных барьеров.

“Цель автора – зашевелить сердце русское – вполне достигнута. Но она может быть достигнута в таком только случае, когда актѣр поймѣт Кремнева и будет настоящим солдатом на сцене. На нижегородском театре Караулов, хотя актѣр и неталантливый, не ударил себя лицом в грязь и был солдатом Кремневым в полном смысле”. Его герой был “чисто русский солдат со своими понятиями обо всех предметах, со своим взглядом на все вещи, как понятные для него, так и непонятные, но с тѣплой верою, с пламенной любовью к Царю, Руси и военной службе! Рост и фигура Караулова совершенно согласуются с его ролью, а также голос и жестикуляция – несносные для Гамлета и Отелло, но превосходные для солдата”. На высоте оказалась в тот день и нижегородская актриса Вышеславцева (играла Варвару Русову). “... Когда она узнаѣт о войне и о близкой опасности Царству Русскому – она была превосходна. Как хорошо сказала она: “Но, государь, надежды твои не тщетны: посреди обожающих тебя подданных ты найдѣшь и Пожарских, и Мининых. Кто из русских не поспешит выставить грудь свою в общий щит славе твоей и народной чести? Я женщина, но...” Да, это сказано было так, что психологическая ошибка автора этих слов была совершенно незаметна. Всякий знающий хоть немного психологию скажет, что в подобных патетических сценах фигуральность неуместна и неестественна. Но Вышеславцева своей игрой исправила эту ошибку”³⁴.

В этой заметке армия – не просто армия. Это русская армия (как и хозяин – именно русский хозяин). И второе, что выдаѣт эти театральные наблюдения начинающего рецензента заслуженно забытой пьесы, хотя и хорошо сыгранной, – сочувственное переживание за свою армию.

Сын писателя Николай, как уже говорилось, добровольцем ушѣл на Русско-турецкую войну. Отец его не отговаривал.

Иван Ильин: “Ребѣнок должен научиться переживать успех своей национальной армии как свой личный успех; его сердце должно сжиматься от еѣ неудачи; еѣ вожди должны быть его героями; еѣ знамена – еѣ святынею. Сердце человека вообще принадлежит той стране и той нации, чью армию он считает *своею*”.

Минули десятилетия, и вот нам тыкают: советская армия, мол, подавила в 1957-м восстание в Венгрии, наши танки в 1968-м стояли на улицах Праги. “Задушили” мы демократию. И что? Будучи членом Варшавского договора, Чехословакия имела точно такое же право ввести свои войска в Москву, случись в России что-либо подобное тому, что происходило там. Не стыдиться, а гордиться надо: какая ещѣ армия в считанные дни брала под контроль целые страны! Я горжусь этой армией.

10. Территория

Путешествия Мельникова – вообще особый разговор. Он до выхода в отставку только и жил на колёсах. Маршруты его засекреченных командировок по министерству внутренних дел ещё предстоит определить и описать (поподробней, нежели сообщает о том его опубликованный послужной список), за этот труд никто не брался... Государственная служба куда только его не бросала.

Но ездил писатель не только потому, что приказывали. Он сам стремился ездить, наблюдал, запоминал, слушал, отыскивал людей, способных поведать что-то о былых временах, собирал песни и предания и делом воплощал в жизнь завет “кумира” своей юности Н. В. Гоголя, которому подражал в первых писательских опытах: “Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому”.

Первой литературной публикацией Мельникова (это уже говорилось) были “Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь”, цикл из девяти очерков по истории, экономике, статистике, быту, этнографии, от Саровской пустыни до Перми. Они публиковались в “Отечественных записках” с 1839 по 1842 год. Тут нужно сказать несколько слов о том, с чего начиналась эта дорога.

Первый биограф писателя Пётр Степанович Усов свидетельствовал, что Мельников оставил Казанский университет из-за какого-то проступка на студенческой попойке. Его в сопровождении солдата отправили в Шадринск Пермской губернии, а потом оставили в Перми. Этот рассказ так и кочует из одной биографической статьи о писателе в другую, попадая в самые авторитетные литературоведческие издания. И, к сожалению, в “Учёных записках Горьковского государственного педагогического института” за 1972 год остаётся “погребённым” исследование Н. М. Мелешкова, доказавшего, что всё это мистификация³⁵.

16 июня 1837 года Мельников окончил Казанский университет. Его оставили при нём для подготовки к работе на кафедре истории и литературы славянских наречий, и здесь он пробыл до 10 августа 1838-го. Дальше – “ссылка” в Шадринск. Н. М. Мелешков попытался найти документальные подтверждения рассказу П. С. Усова. В Центральном Государственном архиве Татарской АССР, как он тогда назывался, ему удалось обнаружить “Дело об оставлении кандидата Мельникова при педагогическом институте Казанского университета для дальнейшего усовершенствования и об определении его исправляющим должностью учителя истории и статистики в Пермскую гимназию”. Ни в этом деле, ни во многих других, в том числе связанных с нарушениями дисциплины и правил поведения, ничего о пьяной выходке Мельникова нет. Её и не было. Магистерскую работу Мельников не завершил, она ему наскучила. Он забрал назад своё прошение и в Пермь поехал по собственной воле. Литературным итогом путешествия стали “Дорожные записки...”

Но первым большим путешествием писателя была поездка в Казань для поступления в университет. “Сидя на корме дощаника, – описывал он те юношеские впечатления, – зорко смотрел я на знакомый плеск Волги и думал, что-то будет там, за поворотом, у Печерского монастыря, какие-то там будут места, какая-то там будет Волга. Рисовалась в моём воображении далёкая и ещё незнакомая Казань с университетом в середине, с мечетями вокруг него, с дворцами и башнями мавританской архитектуры. Столицу татарского царства я воображал Альгамброю, населял её мысленно только студентами да татарами, и никак не мог себе представить, что это такой же губернский город, как и Нижний, только побольше”³⁶. Это, в Пермь, – второе путешествие. Потом их будет бессчётное множество. Пребывание в дороге – одна из особенностей его жизни. (Мало кто, кстати, знает сейчас о том, какой вклад внёс писатель, чтобы связать железными дорогами Нижний Новгород с другими городами, чтобы первые рельсовые пути легли в Сибири и на Урале). Необыкновенная память – особенность его творческого инструментария.

“Бог дал мне память, хорошую память; до сих пор она ещё не слабеет. Что ни видишь, что ни слышишь, что ни прочтёшь, – всё помнишь. Как помнишь, сам не знаю. И рад бы радёшенек иное забыть, так нет, что хочешь тут делай, да и только. А на роду было писано довольно-таки поездить по матушке Руси. И где ни доводилось бывать?... И в лесах, и на горах, и в болотах,

и в тундрах, и в рудниках, и на крестьянских полатях, и в тесных кельях, и в ски-тах, и в дворцах, всего и не перечтёшь. И где ни был, что ни видел, что ни слышал, всё твёрдо помню. Вздумалось мне писать; ну, думаю, давай писать, и стал писать “по памяти, как по грамоте”, как гласит старинное присловье”³⁷.

В 1859 году Мельников предпринял издание газеты “Русский дневник”, задачу свою сформулировал так: “Знакомить русских с Россиею”. Это было подспудной целью всего его творчества, начиная с “Дорожных записок...”. Одухотворяло же его то чувство, о котором позже напишет Иван Ильин; его суждение о “территории” хочу привести полностью. “Русский ребёнок должен увидеть воображением пространственный простор своей страны, это национально-государственное наследие России. Он должен понять, что народ живёт не для земли и не ради земли, но что он живёт на земле и от земли; и что территория необходима ему, как воздух и солнце. Он должен почувствовать, что русская национальная территория добыта кровью и трудом, волею и духом, что она не только завоёвана и заселена, но что она уже освоена и ещё недостаточно освоена русским народом. Национальная территория не есть пустое пространство “от столба до столба”, но исторически данное и взятое духовное пастбище народа, его творческое задание, его живое обетование, жилище для его грядущих поколений. Русский человек должен знать и любить просторы своей страны: её жителей, её богатства, её климат, её возможности – так, как человек знает своё тело, так, как музыкант любит свой инструмент, так, как крестьянин знает и любит свою землю”.

Мне кажется, сейчас очень нужна особая книжная серия “Русский дорожный очерк”. Она помогла бы нам осваивать это последнее десятое сокровище.

Мельников не сформулировал ни педагогических, ни философских идей в виде цельной системы, он творчеством своим, деятельностью, трудом и жизнью воплотил эти десять ильинских принципов, этот образец русского воспитания и мировидения. Ильин обобщил те мировоззренческие принципы, что давно уже сложились, изложил их обоснование. Они все сходятся в Мельникове, в его творчестве, общественной позиции, в нём самом как конкретном человеке. В его литературных героях. Это не теоретизирование, а подлинная жизнь, жизненная практика и мудрость как практическая философия жизни.

Если конкретней – русской жизни.

Такое вот кино

Несколько лет назад по телеканалу “Россия” прошёл показ многосерийного фильма по дилогии Мельникова “В лесах” и “На горах” режиссёра Александра Холмского. Уже по первым сериям создалось впечатление, что в его основу положены не особо значимые эпизоды дилогии, да вообще само произведение там трудно узнать. В своё время я дал по этому поводу короткое интервью для сайта “Портал Credo.ru”. Честно говоря, я тогда сам его и написал, всё целиком. Теперь из того диалога хочу сделать вот этот монолог.

Прежде чем говорить о переводе Мельникова на киноязык, следует, по моему, иметь в виду одну из общих концептуальных идей романа: “...изобразить быт великороссов в местностях при разных развитиях, при разных верованиях и на разных ступенях образования”, как писал сам Мельников. Чтобы создать убедительный художественный образ поволжского старообрядчества с его народным веропониманием, порой в синкретической (нерасчлняемой) связи с языческими представлениями, Мельников попытался создать особый стиль, отсылающий читателя к культуре той среды, откуда вышел герой. Он пытался воссоздать цельный и неповторимый образ народа с его образом мыслей, экономикой, психологией и прочими особенностями.

Старообрядчество представлено в романе разнохарактерными героями, оно показано многогранно и несхематично, как в русской литературе никто ранее не делал. Двойственность некоторых характеров обусловлена неоднозначным отношением писателя к староверию. Художественная концепция Мельникова заключалась в воссоздании поволжского старообрядчества во всём многообразии человеческих типов, но также и в том, чтобы показать его обречённость, необходимость воссоединения с “великороссийской церковью”, способность в этом случае положительно повлиять на русское общество. “А главный оплот будущего России всё-таки вижу в старообрядцах, которые

не будут расколниками...» — писал он в докладной записке министру внутренних дел П. А. Валуеву в 1866 году, после каракозовского выстрела и командировки в Москву (по-прежнему, как многие тогда, полагая, что «старообрядческий раскол» — следствие невежества). И пусть эта записка так и не была подана, а осталась в его архиве, она свидетельствует о коренном перевороте в его взглядах. Авторские и сюжетные отступления требуются для того, чтобы создать и осмыслить шитое из множества лоскутков и потому неповторимое культурно-бытовое полотно «Лесов» и «Гор». Здесь были очень важны внесюжетные элементы, отступления от общего действия. Отдельного разговора заслуживают стиль романа, его язык, вещный мир.

У фильма же совсем иная задача, иные цели, иной стиль, иной жанр. Это мелодрама, что видно уже с первых минут, поэтому то, о чём у писателя лишь упомянуто, здесь выходит чуть ли не на первый план, и это не Мельников, герои фильма — попросту не его герои. В силу жанровых законов и своей идейно-смысловой специфики, роман «В лесах» не помещается в прокрустово ложе мелодрамы — жанра, кстати, достаточно серьёзного в руках талантливого режиссёра. Вот и всё.

А о старообрядцах, наверное, трудно и писать, и снимать. Не только потому, что стороннему человеку сложно проникнуть в этот мир, в особый уклад. Это связано с необходимостью осмыслить одну из самых сложных загадок и тайн на земле. Я говорю о сути и смысле человеческого страдания. Легко ли снять фильм по «Житию протопопы Аввакума...»?³⁸ Не говорю, что это невозможно. Можно дерзнуть и выше. Снял же Мел Гибсон «Страсти Христовы»! Если зритель задался вопросом, если спросил себя: «А ты достоин этой жертвы?» — значит, фильм уже удался. Фильм о национальной церковной трагедии должен породить вопрос: что же действительно тогда произошло?

Мельниковская субъективность бросается в глаза. Я уже говорил и писал о том, что в его скитаче — сплошной блуд и разврат, но при этом старообрядческие купцы с непонятным упорством везут туда для воспитания своих дочерей. Очевидно, фактор подобной субъективности нужно учитывать при экранизации. Однако одно дело — изначальная негативная предвзятость, односторонность, поверхностность, способная если не оскорбить, то больно задеть, другое — высокохудожественное изображение человеческих страстей, пусть даже «на старообрядческом материале». В этом случае только радоваться надо. Можно сказать резко: эта экранизация, как она получилось, — профанация художественного наследия писателя, и подобная профанация носит у нас системный характер. Собственно, об этом много и давно говорят...

До Мельникова нашей киноинтеллигенции надо «дорости», чтобы суметь осмыслить и воплотить его художественными средствами другого искусства. Он ведь того заслуживает вполне. Снять его сможет режиссёр национально мыслящий. Надо дорости до того, чтобы созидать в себе русского человека. Экранизировать можно не только его романы, но и повести. «В лесах» — это ведь не «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского, в общем-то вполне заслуженно забытое произведение, интерес к которому пробудил снятый когда-то сериал «Петербургские тайны». Так бывает: не особенно талантливые произведения вдруг оживают. Кстати, и в этом случае роман Крестовского был «подправлен» и упрощён. Но до Крестовского «дорости» легче. До Мельникова сложнее. Это тот уровень, где как раз возникает иерархия. Кто лучше писал: Достоевский или Мельников? Ответить нельзя, потому что на таком уровне иерархии нет. Ибо у каждого из них было своё лицо и своеобразие, и говорить здесь можно о значении их творчества в общемировом или национальном литературном контексте.

Получается, что я критикую этот сериал. Не помню, чьи это слова, кажется Белинского, но не уверен и не ручаюсь за точность, но суть их такова: есть вещи, которые без ударов критики погибают быстрее, нежели под ударами критики. Сказанное вполне относится к сериалу (не к роману Мельникова, конечно, поскольку фильм имеет к нему весьма опосредованное отношение). Его выход на экраны, по-моему, не заслуживал бы разговора, если бы не имя писателя, если бы не классическое произведение в основе.

Творчество — штука очень жестокая и беспощадная. Треплев в «Чайке» Чехова говорит о беллетристе Тригорине: «Что касается его писаний, то... Мило, талантливо... но... после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина». Увы, толстыми и золя становятся единицы, а писать могут все, и довольно

многие достаточно хорошо. Но поистине большой дар, способный оказывать влияние на судьбы и мировоззрение поколений, — редкость. Подлинный талант всегда откуда-то свыше, за него порой приходится жестоко платить, потому что он ведёт ко многим искушениям. И тем не менее...

Бог награждает писательским, а если шире — творческим даром по-разному, награждает щедро и того, кто Его не благодарит вовсе. Поэтому если ты можешь не писать, то не пиши, поскольку за всякое праздное слово или, если так можно выразиться и перевести на язык кино, за всякий праздничный кадр надлежит дать ответ. Режиссёр, снявший сериал по Мельникову, хороший, продюсер тоже. Мило, талантливо. Я без всякой иронии. Но Бергман или Анри-Жорж Клузо (например), Бондарчук или Калатозов — лучше.

Вместо P.S.

Что замыслил Творец о России?

Этот вопрос слетает со страниц “Русской идеи” Николая Бердяева³⁹.

Что замыслил Творец...

Ответ отыщется только через изучение старообрядчества. Мало что изменится, если я вернусь и зачеркну это категоричное “только”. Мимо старообрядческой идеи совершенно прошла та самая русская “историософическая мысль”, о которой говорит философ, сам затрагивая старообрядческий вопрос, на мой взгляд, поверхностно. (“Аввакум, несмотря на некоторые богословские познания, был, конечно, обскурантом. Но, вместе с тем, это был величайший русский писатель допетровской эпохи...” Это как? Мыслитель даже такого уровня не в силах одолеть старый стереотип. Выбрал бы уж что-нибудь одно!).

Наша интеллигенция не интересуется старообрядчеством, сытая устаревшими штампами.

История старо- и новообрядчества — это единая национальная русская история, то и другое нужно изучать вместе, в целостном единстве, в параллель, сравнивая. Россия — многоцветная мозаика, сложенная самим Богом, и никак нельзя постичь это уникальное произведение, если рассматривать только одно стёклышко, обособленно от других. Всегда нужно стремиться понять, для чего оно необходимо и легло, в соседстве с другими, именно здесь...

Семнадцатый век и девятьсот семнадцатый год — не простая “магия чисел”. Никоновской реформой ознаменовано начало десакарализации царской власти — выстрел в собственный висок, и октябрьской революцией, точнее — Ипатьевским домом она завершается. Русский национализм с его проблемами, в том числе современными, вне старообрядчества тоже не осмыслить до конца. Это лишь для примера две темы, тесно связанные с судьбой Церкви, оставшейся верной донионовским чинам и последованиям, древней “старожитности”, чья история изучается сегодня разве что в сфере археографии или (того хуже) этнографии.

Да, “того хуже”...

“Если великий народ не верует, что в нём одна истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ” (слова Шатова из “Бесов”). Изучение старообрядчества должно быть — и прежде всего — изучением именно этой истины, этой “правды старой веры”, которая вела людей на страдания за неё. Ответом на вопрос: кто мы?

Нам нужен Мельников, чтобы понять себя.

“Знакомить русских с Россиею” — когда-то именно так он обозначил задачу “Русского дневника”. И это не просто озарение. Он знакомил с Россией оклеветанной, с Россией старообрядческой, избавляясь от собственных стереотипов, как мог.

Она, эта Россия, этот “мир таинственный, мир мой древний”, — частица нашего русского мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Мельников П. И. Начало неоконченной автобиографии П. И. Мельникова // Собр. соч.: В 8 тт. М., 1976. Т. 1. С. 354.
- ² Полное название: “Нация: От забвения к возрождению”.
- ³ Мельников П. И. Письмо М. П. Погодину от 4 февраля 1852 г. // Сборник в память П. И. Мельникова (Андрея Печерского). Действия нижегородской учёной архивной комиссии. Нижний Новгород, 1910. Т. IX. Ч. 1. С. 161.
- ⁴ *Щёголь (от фр. petit-maitre).*
- ⁵ История легенды, её источники уже были предметом изучения: Боронина М. Ф. Источники китежской легенды в романе П. И. Мельникова (А. Печерского) “В лесах” // Фольклор народов РСФСР: Межвузовский научный сборник. Уфа, 1979. С. 48–54; Курдин Ю. А., Кудряшов И. В. Китежская легенда в интерпретации В. Г. Короленко (“В пустынных местах”) и П. И. Мельникова-Печерского (“В лесах”) // Короленковские чтения, 15–16 октября 1996 г.: Тезисы докладов научно-практической конференции. Глазов, 1996. С. 6–9.
- ⁶ Гиндия Г. В. Реализация поиска национальной самобытности художественного метода П. И. Мельникова-Печерского (40–60-е годы XIX века) // Идеиные позиции и творческий метод русских писателей второй половины XIX века. М., 1984. С. 44–45.
- ⁷ Рябушинский В. П. Судьбы русского хозяина // Рябушинский В. П. Старообрядчество и русское религиозное чувство. М., 2010. С. 154–155. Курсив В. П. Рябушинского.
- ⁸ Иваницкая Е. Работа не work // Новая газета. М., 2002. № 32 (770) от 6–12 мая. С. 22.
- ⁹ Мы помним вас! // Учительская газета. 2003. № 40 от 30 сентября. С. 40.
- ¹⁰ Федин К. А. Писатель, искусство, время // Федин К. А. Собрание сочинений: В 12 тт. М., 1985. Т. 9. С. 450.
- ¹¹ Измайлов А. П. И. Мельников-Печерский // Мельников П. И. (Андрей Печерский). Собрание сочинений / Изд-во т-ва А. Ф. Маркс. М., 1909. Т. 1. С. 18.
- ¹² Усов П. С. Павел Иванович Мельников, его жизнь и литературная деятельность // Мельников П. И. Полное собрание сочинений. СПб–М.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1897. С. 56–57.
- ¹³ Мельников П. И. Очерки мордвы // Полное собрание сочинений. 1898. Т. 12. С. 10 (прим. 2 в сноске). См. также С. 8–10. В этом же томе см. также статью “Предания в Нижегородской губернии”, С. 420–425.
- ¹⁴ Мельников А. П. Из воспоминаний о П. И. Мельникове // Сборник в память П. И. Мельникова (Андрея Печерского). Действия нижегородской учёной архивной комиссии. Нижний Новгород, 1910. Т. IX. Ч. 1. С. 65–66.
- ¹⁵ Об иконах, упоминаемых в диалогии, см.: Лепяхин В. Икона в русской художественной литературе. М., 2002. С. 217–242, 243–271.
- ¹⁶ Мельников А. П. Указ. соч. С. 61.
- ¹⁷ Сенатов В. Г. Философия истории старообрядчества. М., 1995. С. 85.
- ¹⁸ Михаил (Семёнов), еп. Разрушающаяся церковь // Собрание сочинений. М.–Ржев, 2011. Т. 1. С. 43.
- ¹⁹ Мельников П. И. Начало неоконченной автобиографии П. И. Мельникова // Собр. соч.: В 8 тт. М., 1976. Т. 1. С. 351.
- ²⁰ Мельников П. И. Автобиография П. И. Мельникова // Там же. С. 355.
- ²¹ Мельников П. И. Великий художник // Литературная газета. 1840. № 55 от 10 июня. Спб, 1258.
- ²² Усов П. С. Указ. соч. С. 66.
- ²³ РГАЛИ. Ф. 321 (Мельников П. И.). Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 2.
- ²⁴ Липатов В. А. Житие и сказ (о соотношении устной и письменной традиции в романе П. И. Мельникова “В лесах”) // Русская литература. 1870–1890 гг. Свердловск, 1977. [Вып. 10] С. 114–115. См. также: Перевозчикова Н. Г. Жанр жития и его художественные функции в диалогии П. И. Мельникова-Печерского “В лесах” и “На горах” // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы IV научно-практической конференции. М., 1998. С. 235–237.

- ²⁵ См.: Мельников П. И. Где жил и умер Козьма Минин // Отечественные записки. 1842. Кн. 8. С. 67–69; Он же. О родственниках Козьмы Минина // Там же. С. 70–73.
- ²⁶ Описание праздника, бывшего в Санкт-Петербурге 6–9 апреля 1865 года по случаю столетнего юбилея Ломоносова: по поручению... Ломоносовского Комитета, сост. членом его П. Мельниковым. СПб.: Тип. Т-ва “Общественная польза”, 1865. 48 с.
- ²⁷ Новое время. 1876. № 168 от 17 (29) августа. С. 2. Рубрика “Городская хроника”.
- ²⁸ ИРЛИ. Ф. 95 (П. И. Мельников). Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 8.
- ²⁹ Тареев М. М. Типы религиозно-нравственной жизни // Богословский вестник. 1902. № 9. Сентябрь. С. 42–81.
- ³⁰ Измайлов А. Указ. соч. С. 4.
- ³¹ Михаил (Семёнов), иером. Беседы с читателями “Русского паломника”. О живой жизни и вечных истинах // Русский паломник. 1902. № 45. С. 775. Курсив иером. Михаила.
- ³² Там же.
- ³³ Белинский В. Г. Письмо к Гоголю от 15 июля 1847 г. // Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1982. Т. 8. С. 284.
- ³⁴ Мельников П. И. Театр в Нижнем Новгороде // Литературная газета. 1840. № 70 от 31 августа. Спб. 1583, 1584.
- ³⁵ См.: Мелешков Н. М. К биографии П. И. Мельникова-Печерского // Горьковский государственный педагогический институт им. М. Горького: Учёные записки. Горький, 1972. Вып. 129. Серия филологических наук. С. 127–134.
- ³⁶ Усов П. С. Указ соч. С. 37–38.
- ³⁷ Усов П. С. Указ. соч. С. 276.
- ³⁸ Фильм Н. Н. Достался “Раскол” я не считаю особенным достижением, хотя, мне кажется, тот вопрос, который я ставлю ниже, “что же тогда произошло?”, он задаёт зрителю, и в этом его достоинство.
- ³⁹ См. в начале главы II: “Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической. Она глубоко задумалась над тем, что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова её судьба”.